

АНДРЕЙ УБОГИЙ



СЕСТРА ЛУНЫ

РАССКАЗ

За окном расплывался и таял круг луны с лошадиной на нём головой. Мягкая, словно масляный ком, луна была всюду, куда бы Янов не переводил свой измученный взгляд: и в ночном небе, и в водянисто мерцавшем стекле, где диск луны вытягивался и двоился, и на потолке, по которому медленно двигались, а потом возвращались на место желтевшие лампы, и даже на кафельных стенах палаты, лоснящихся в масляных бликах луны. Луна проникала повсюду; даже если над Яновым наклонялась сестра, чтоб измерить давление или сделать укол, её голова озарялась опаловым нимбом луны, сестра и сама превращалась в луну — и лицо, и прохладные руки её были словно из лунного света.

Здесь, в отделении реанимации, Янов больше жил ночью, чем днём: ночью в нём обострялись и мысли, и чувства, именно ночью он начинал жить в напряжённо-горячем мире, так не похожем на скучные сумерки дня. То, что происходило днём, он воспринимал, словно тягостный сон, от которого очень хотелось, но нельзя было пробудиться. Днём его окружали десятки назойливых лиц — равнодушных, участливых, бодрых, скучающих, всяких, днём была то тошнотворная боль перевязок, то переезды в рентгенкабинет и обратно, днём бёдра и плечи саднили от множества разных уколов — день был наполнен той беспокойной морокой, которая называлась борьбой за жизнь. “Уж лучше бы, — думал он иногда, — мне быть не доктором, а бомжом из дорожной канавы: давно бы уж помер без лишних мучений...”

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала “Наш современник”. Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

А за его жизнь боролись, и Янов никак не мог объяснить тем, кто трудился над ним, до чего же ему опостылела эта вся суета и возня и как он хотел одного: тишины и покоя. Но он понимал, что эта морока нужна уже не столько ему самому, сколько тем людям, для которых борьба за чужую жизнь была значением и смыслом собственной жизни. Янов и сам был таким: он почти тридцать лет отработал хирургом, занимаясь тем, что кого-то спасал, не размышляя о том, зачем он это делает и что будут люди, спасённые им, делать с собственной, вновь им подаренной, жизнью?

Лишь к ночи, когда залы реанимации становились пустыми и гулкими, а за окном поднималась луна, существование Янова обретало смысл само по себе, и он уже не боролся за жизнь, а собственно жил. Луна волновала и успокаивала одновременно: лунный свет будоражил, томил, он преследовал Янова даже за тонкой преградой зажмуренных век, но он же снимал с души некий мучительный груз, помогал отказаться от тяжкого бремени существования и свободно поплыть, наконец, по течению жизни. Желанная и бесконечно чужая, ко всем благосклонная и равнодушная к каждому, луна наступала на Янова, неустанно преследуя Янова каждую ночь, но ускользала от всяких попыток приблизиться к ней, растекалась обманно и неуловимо, как её собственный, зыбкий и призрачный свет.

Он жил теперь от луны до луны, от момента, когда в раме окна поднимался её багровеющий диск, до минут, когда её бледно-молочная клякса уже уплывала из глаз, оставляя лишь полосы лунного света на лаковой глади ночного стекла.

Или всё-таки Янов с таким нетерпением ждал не луну, а ту, которая всегда приходила с ней вместе? Появление Инны таинственно совпадало с восходом ночного светила: словно медсестра Инна была неотлучною спутницей или сестрой луны. Рассудком-то он понимал, что дежурить так часто она не могла; но ведь и луна появлялась не по расписанию — час восхода её постоянно менялся — и Янову, не вникавшему в эти загадки, было довольно того, что его встречи с Инной проходят под пристальным взором луны.

Инна была и сама круглолицая, полная и белокожая, словно луна. То, что она заступала на смену, Янов чувствовал, даже не видя её: по тому беспокойству, что вдруг охватывало его, и, как ни странно, по чувству покоя, которое ощущимо густело вокруг, в гулком воздухе реанимации. Эти два состояния — возбуждение и успокоение — Янов испытывал одновременно, несколько не удивляясь их сочетанию (он вообще ничему уже не удивлялся), но болезненно наслаждался тем обострением чувства собственного существования, что всегда приносила с собой медсестра с круглым белым лицом и живыми глазами. Ещё до того, как лицо Инны всплывало над ним, Янов слышал её, Инны, смех и её грудной голос: она обсуждала с подругами новости: “Да ну, тебя! Людка, врётся”. — “Вот ей-Богу, Инусик, чтоб я провалилась!” — и голос Инны был полон жизни, а голоса тех, кто сдавали ей смеху, казались уставшими, словно пустыми.

После смеха и голоса Янов слышал шаги — очень лёгкие, быстрые, несмотря на её полноту, — и по залу реанимации будто протягивал ласковый ветер. “Вот сейчас, — думал Янов, волнуясь, — она измеряет давление этому, который на аппарате, а сейчас подойдёт и ко мне...” Он угадывал с точностью до секунды: над ним появлялся её светлый лик, глаза, чуть сощурясь, смотрели с живым интересом, и Инна ему говорила:

— Как дела, доктор? Сегодня вы, кажется, повеселее...

Смысл её слов был неважен — Янову нужно было лишь слышать её грудной голос да видеть взгляд карих ласковых глаз. При появлении Инны Янов испытывал помутнение рассудка. Он забывал, где находится, что с ним и зачем наклонилась над ним эта юная женщина; он сознавал только то, что Инна здесь, рядом, и что он так хочет коснуться её — как никогда не хотел никого. Непроизвольно он тянул к ней худую, дрожащую руку, Инна ловко перехватывала её и укладывала обратно на койку, и ему казалось, что медсестра так же неуловима и вездесуща, как лунный свет, что колышется всюду: в окне, во флаконе с раствором, и в этих янтарных, насмешливых женских глазах...

Пока Инна переворачивала его с боку на бок, меняя пропотевшую, смятую простыню, молочные, лунные груди сестры колыхались над Яновым: тесный лифчик не только их не скрывал, но как будто нарочно выталкивал в вырез халата. Янов не знал, сколько времени Инна перестилала его постель и протирала резко пахнущим спиртом костлявую спину, на которой измятая простыня отпечатала сине-багровый рисунок; ему, для которого время текло теперь совершенно иначе, казалось, что Инна всегда, сколько он себя помнит, над ним колдовала и погружала его в состояние сна наяву. Порой даже казалось, что она вот-вот ляжет к нему, и он весь напрягался, опасаясь и в то же время желая, чтобы это случилось.

— Та-ак, с этим управились! — весело говорила сестра. — Теперь ставим катетер...

Так бесцеремонно и просто с мужским органом обращаются лишь медицинские сёстры. Из-за вздутого живота Янову не было видно, что именно делает Инна; но он чувствовал, как она крепко схватила его неотзывчивый уд, сжала и потянула — и у Янова перехватило дыхание от жгучей боли, бесцеремонно и туго входящей в него. Он зажмурился и застонал. Инна крикнула:

— Доктор, терпи!

То облегчение, что наступило потом — огромное, сладко-постыдное, напоминавшее раннее детство, когда он мочился в постель, — было наградой за пережитую боль. А Инна, как некогда мать, смотрела с насмешливой лаской.

— Четыреста граммов — неплохо! — смеясь, говорила она.

Теперь его всё сильнее клонило ко сну, как после близости с женщиной. Но даже во сне ему виделась Инна, точнее, те женщины, которых он некогда знал и любил, и которые — все до единой! — были сейчас, словно сёстры, похожи на лунную эту сестру. Инна не только не вытесняла из его потревоженной памяти всех остальных, но как будто бы их приводила с собой, оживляя всё то, что с ним было когда-то. Словно факел горел в душе Янова, озаряя тревожным, мечущимся светом всё то, что, казалось, давно погрузилось во тьму...

Прошлая жизнь, как она представлялась ему, становилась всё меньше и всё тяжелее. Даже не верилось, что он её всё-таки прожил, что он пятьдесят почти лет нёс её груз, потому что лишь только теперь он вполне ощутил её страшную тяжесть. Знай он раньше, какой она будет тяжёлой, сумеет в самом начале почувствовать то, что почувствовал в самом конце, он навряд ли прошёл бы свой путь.

О том, что жизнь есть борьба, он догадался давно, ещё в самом начале. Детские, а потом подростковые ссоры и драки составляли, как он сознавал, едва ли не главное содержание жизни, её откровенную, грубую суть. Доказать своё право на жизнь, одолеть остальных — вот что было важнее всего; и когда, уже в школе, Янов услышал слова “борьба за существование”, он принял их как бесспорную и давно известную истину.

Но всё было гораздо сложнее. Янов всегда смутно чувствовал, что его главный противник в борьбе, отнимающей все его силы, — он сам. И если одолеть соперника в драке или каком-нибудь состязании ещё было возможно, то как победить себя самого в борьбе, где победа неотличима от поражения? Он вполне сознавал всю трагедию этой великой борьбы лишь теперь, оказавшись так близко к смерти. Страдания так истончили и тело, и душу, что он стал видеть себя как будто со стороны, уже не участвуя в собственной жизни, но зато понимая её с такой простотой и силой, которая прежде была ему недоступна.

Например, та болезнь, что привела его в реанимацию, — разве это не результат той же самой трагической схватки с собой? Некроз поджелудочной железы, её аутолиз — то, что вызвало тяжелейший перитонит, — разве это, думал он, не пожирание себя самого, не победа себя над самим собою?

Всю жизнь он боролся с собой, изнывая под тяжестью этой борьбы, и догадываясь, что она завершится лишь только его, Янова, смертью. Всю жизнь он нёс груз себя самого, и этот мучительный груз был для него тяжелее, чем груз всего мира.

Вот только работа да ещё — в юности — спорт помогали хотя бы на время избавиться от ощущения этого гнёта. Изнурение беговых тренировок, а потом операций, дежурств, бесконечной больничной работы, как ни странно, смягчало то чувство вины и тревоги, с которыми Янов являлся на свет. Поэтому, особенно в молодости, когда сил было больше, Янов порой относился к себе, как к врагу, которого надо измучить как можно сильнее, чтоб, в награду за это сражение с собою самим получить перемирие и передышку. Даже тренер, случалось, ему говорил: “Ты бежишь всегда так, словно это последний забег в твоей жизни. Ты что, хочешь сам себя поскорее угробить? Полегче бы надо, дружище...”

Потом, уже став хирургом, он перенёс свои битвы с собой на иные поля, но они не стали от этого ни безмятежней, ни легче. Он работал так много, так часто дежурил, да ещё брал подработки в других больницах, что ему случалось по несколько суток подряд не бывать дома. Первая жена ушла от него очень быстро, вторая ещё как-то терпела, но сам себя Янов не ощущал человеком семейным. Дома он только ел или спал да ругался с женой, а по-настоящему жил лишь в больнице. Янов и не разводился-то со своею второю женой оттого, что чувствовал: он настолько внутри себя одинок, что ему всё равно, есть ли рядом жена, или нет никого. И вообще, ему нужна была не жена, не любовница, а нужны были все женщины сразу, нужна была сама женственность как таковая.

И вот только в больнице, среди медсестёр он подходил к этой женской стихии так близко, как только возможно. Сейчас, в полусне-полубреду, он представлял всех сестёр, которых он знал, в образе как бы единой, но принимающей множество разных обличей любовницы. Она была сразу и юной, и зрелой, смуглой и белобрысой, застенчивой и нагловатой, то броско-красивой, то скромно-невзрачной, и Янов и сам толком не понимал, кто же именно ему сейчас снился, но ощущал, как его окружает желанная и колдовская стихия, без которой он не мог жить. Именно в женщинах содержалась манящая тайна покоя и самодостаточной полноты, на которой, как чувствовал Янов, держался весь мир. Он-то сам в этом мире был лишь сомнительной и беспокойной прибавкой, поэтому ему и приходилось доказывать своё право на жизнь, в котором он сам был не очень уверен.

А вот женщины были настолько самодостаточны и полноценны, как будто они себе взяли весь покой мира, ничего не оставив мужчинам. И чем беспокойней, тревожнее Янов себя ощущал, тем сильнее его влекло к женщинам. И даже сейчас, когда он оказался меж жизнью и смертью, он чувствовал, что спасение — в сёстрах, в тех, кто за ним здесь ухаживал, перестилал и кормил, кто делал уколы и клизмы, и к кому он доселе испытывал тягу желания.

Но сильней, откровеннее всех он желал Инну. В её белом округлом лице и смеющихся карих глазах, в её теле, которое пахло полыньёю и мёдом, в её грудном голосе и прохладных руках заключалась как будто вся женственность, как таковая, было то, что он, Янов, искал во всех женщинах, а теперь нашёл в Инне.

...Какие-то очень знакомые звуки врывались в его забытё и мешали ему. “Что это? Сердце?” — думал он, даже не слыша, а чувствуя, как туго, ритмично толкается что-то в окружающей его тьме. Он ощущал содроганья и вздохи ночного пространства, и это его волновало; но эти ритмичные звуки были гораздо сильней толчков сердца или той мерной капли растворов, что круглые сутки вливали ему в подключичную вену. Казалось, что это, ритмичное и торопливое, происходит внутри самой ночи — в той её сердцеvine, где плавилась бледная клякса луны.

Сознание Янова не догоняло того, что уже понимала душа: где-то здесь, рядом, — скорее всего, вот за этой перегородкой, что отделяла залу реанимации от сестринской комнаты, — происходила напористо-грубая близость мужчины и женщины; именно эти бесстыдно-ритмичные скрипы и вздохи так мучили Янова, не позволяя ему погрузиться в бездумную мглу забытья. Мерещилось, что он тоже участник того, что сейчас происходит в ночи.

Но потом он увидел, что рядом с ним нет никого. “Где же Инна?” — он даже привстал на локтях, чтоб окинуть глазами палату. Но её не было ни за столом, ни возле соседа, за которого мерно дышал аппарат, ни у окна, ни у шкафа с лекарствами — ни в одном из привычных для Янова мест. “Значит, там, за стеной, так вздыхает — она?” — наконец, угадал он источник тех звуков, что вдруг разбудили его. Чувство ревности с неожиданной силой сжало Янову сердце. И в тот же миг он почувствовал, сколько же в нём ещё жизни, раз он способен испытывать ревность и боль, и желать сейчас Инну с такою мучительной силой, что ему пришлось стиснуть зубы и застонать от тоски и обиды.

Ритмический шум за стеной тотчас стих. Послышался сдавленный смех, потом грохот упавшего стула и хрипящая ругань мужчины, а потом торопливо зацокали туфли. Инна, на ходу оправляя халат, вошла в залу реанимации и, как ни в чём не бывало, спросила:

— Что с вами, доктор?

Истома и возбуждение были сейчас перемешаны в ней. Инна словно плыла в мягком облаке: ватные ноги ещё чуть дрожали, но руки двигались сами собою, с привычной, решительной точностью. Шприцы, ампулы, стойки капельниц и флаконы растворов — всё возвращало рабочий настрой. Инна всегда жила лишь настоящим, тем, что делала здесь и теперь; даже недавнее прошлое вытеснялось конкретностью сиюминутного и становилось далёким, почти нереальным.

Вот и сейчас она вспоминала о том, что у них было с доктором Муровым, как о чём-то приятном, но уже отдалившемся в прошлое. “Да, кобель ещё тот...” — улыбалась она, вспоминая могучее, рыжей шерстью поросшее тело и громадные руки, в которых даже её, Инны, груди казались не очень большими. Ей Муров не то чтобы очень уж нравился — такие огромные, грубовато-напористые мужики скорее пугали её, — но она понимала: ему отказать невозможно. Когда он смотрел на неё откровенно и весело, нагло, то по коже бежали мурашки, жар поднимался в ней от колен до живота, и Инне хотелось самой, чтоб мохнатая, жадная эта рука поскорее сдавила ей грудь. Как настоящую женщину, её больше всего возбуждало мужское желание; близость с Муровым была как бы частью дежурства, тем ритуалом, без которого не проходила почти ни одна её ночь в реанимации.

Но спроси сейчас Инну: “Он что, твой любовник?” — она бы, скорее всего, рассмеялась. Он был просто мужчиной, она — просто женщиной, и, сойдясь вместе ночью, да ещё возбуждённые общей работой, они просто хотели друг друга. Даже мысли о том, чтобы встретиться где-нибудь вне больницы, не возникало ни у него, ни у Инны. Их отношения были так же просты, как проста смерть в отделении реанимации, где они оба работали, и никто не хотел усложнять неподдельной и грубой первичности их отношений.

Теперь, когда близость была позади, и о ней напоминала лишь слабость в коленях да приятная, тёплая тяжесть внизу живота, всё внимание Инны было занято доктором Яновым, который лежал перед ней обнажённый, весь в мокрых повязках и дренажах, и тихо постанывал, то сжимая, то разжимая худые свои кулаки.

— Сейчас-сейчас, — торопилась она набрать в шприц лекарство. — Сейчас, мой родной, полегчает...

Она редко кого так жалела, как этого доктора с умным, страдающим и измождённым лицом — хирурга, который третью неделю лежал у них с тяжёлым панкреатитом, уже перенёс операцию и до сих пор не мог ни умереть, ни пойти на поправку. “Хороший мужик, настоящий”, — подумала Инна о Янове, сама толком не понимая, что значит для неё это слово, но твёрдо зная, что мужчина и должен быть только таким — настоящим. “А Муров что же, не настоящий? — спросила она у себя, и сама же ответила: — Нет, и он настоящий, но только другой”.

Янов нравился ей даже больше, потому что его было жалче. Ей нравилось то, как он терпит боль: как он до хруста сжимает свои кулаки, и каким напряжённым и злым становится в эти минуты его лицо. А когда боль, наконец, отпускала — как сейчас, после укола, что сделала Инна, — Янов

смотрел на неё благодарно, печально — глазами, какими, пожалуй, ещё никогда и никто на неё не смотрел. “Гляди, девка, — усмехалась она сама над собой, — так и влюбитесь недолго...” Она безошибочным женским чутьём ощущала какую-то странную силу, что исходила от этого изнурённого и физически совершенно бессильного человека. В глазах Янова читалась какая-то важная мысль, понять которую Инна ещё не могла, но само присутствие этой мысли наполняло её благодарностью и уважением к Янову. Инна, красивая сильная тридцатилетняя женщина, порой ощущала себя рядом с ним девочкой, глупой и беззащитной, и Янов казался ей в эти минуты почти что отцом, способным её защитить и утешить. А порой Янов, напротив, казался ей маленьким мальчиком, которого надо было утешить и накормить, поменять под ним мокрую простыню, мальчиком, не способным никак обойтись без её попеченья, заботы и ласки.

Как эти разные отношения к Янову в ней сочетались, как она видела в нём одновременно мужчину, ребёнка и старика — Инна не думала и не видела в этом противоречия. Её женское сердце вмещало такое, чего ум, даже самый глубокий, никогда бы не смог объяснить. Так, она безошибочно знала — и опять не умом, а глубинным чутьём, — что она очень нравится Янову и что он её хочет: именно в самом прямом, грубом смысле, как бы это ни было странно для человека, который находится между жизнью и смертью. Но уж кто-кто, а Инна всегда ощущала желание мужчины, если мужчина был настоящим, как бы он ни старался его подавить или скрыть. Она ощущала мужское желание, словно некий призыв, на который нельзя не откликнуться, или, точнее, как волну, колыхнувшую мир вокруг Инны. Вопрос был только в силе желания, в высоте этой самой волны — поднимет ли и понесёт ли она Инну, как щепку, или только слегка покачнёт? — а то, от кого именно эта волна исходила, как выглядел, что собой представлял человек, возбуждавший её, Инне было не так уж и важно. Вот Янов, как он был ни слаб, поднимал волну редкой силы.

К тому же, опыт работы в реанимации ей говорил, что как раз те, кто приблизился к смерти, нередко исходят такою прощальной тоскою желания, что Инне, которая лучше других ощущала в мужчинах безмерную эту тоску, становилось мучительно жаль уходящих навеки мужчин. Само страдание в них — самых лучших и настоящих — порой переплавлялось в желание, в ту необъяснимую тягу к ней, Инне, которую она безошибочно распознавала. Но лучшие — вот такие, как Янов! — и уходили-то, что было обиднее и несправедливей всего, с такою жестокою неотвратимостью, словно смерть, как ревнивая жадная баба, отбирая себе самых лучших, снова и снова смеялась над Инной: ну, что, мол, подруга, опять я тебя оставляю ни с чем?

“Вот помрёт он, — вздыхала сестра, поправляя повязки на вздутом, тугом животе, — и настоящих-то мужиков совсем не останется...” Ну, кто, в основном, лежал у них в реанимации? Алкоголики да наркоманы или выжившие из ума старики, да и те задерживались здесь ненадолго. Побудут сутки-другие — и их, оклемавшихся, либо переводят на нижние этажи, либо, завернув в простыню и привязав к ноге бирку из жёлтой клеёнки, отвозят в одноэтажное здание morga. “А Муров? — спрашивала Инна саму же себя. — А что Муров? Он женат, и с ним мне не светит... да и какой из него, к чёрту, муж? Он только и думает, как бы кому засадить... Вот если бы Янов поправился — дело другое. Господи, как же мне надоело одноразовые мужики!” Пока её руки работали, поток мыслей уносил её далеко, но она всегда ощущала присутствие Янова и его умный, внимательный взгляд. Даже когда она вспоминала о дочке, о матери или о тех, с кем судьба ненадолго сводила её — на день, на неделю, от силы на месяц, — Янов был всегда рядом и словно бы одобрял или не одобрял то, о чём она думала. Вот такого бы ей, кто её понимал даже лучше, чем она понимала себя, — а себя-то саму она, честно сказать, вовсе и не понимала, а просто жила, как живётся, — вот такого бы ей, кто бы смог объяснить всё на свете, как озарил бы её женские сумерки своим ясным, мужским, беспокойно-страдальческим смыслом...

Но она уже знала, что чуда не будет, что судьба обрекла её лишь на проводы тех, кто ей был так нужен. Янов снова зажмурился и застонал, и ей

пришлось звать доктора Мурова, чтобы решать: что же делать с больным?

Муров пришёл, навис над больным всей громадной тушей, посмотрел язык, пульс, осторожно пощупал живот и, вздохнув, сочувственно пророкотал:

— Что, брат, херово?

Янов кивнул, продолжая натужно вздыхать. Муров могучей своей пятернёй почесал рыжую бороду, сказал Инне, что нужно добавить в капельницу, но оставался задумчивым и недовольным. Похоже, у Янова продолжался перитонит, и было не обойтись без повторной ревизии.

Наутро созвали консилиум. Приехал даже Абазов, главный хирург Управления. Несомненно, Янову стал хуже. Его лицо посерело, щёки запали так, что сквозь них проступали зубы, а отчуждённо-горячечный взгляд плавал по лицам врачей, что пришли на консилиум, никого из них уже не узнавая.

Как это бывает в случаях самых тяжёлых, говорили и спорили мало. Всем было ясно: если даже брать Янова на повторную операцию — шансов немного; но и оставить его помирать просто так, без попыток спасти, тоже было нельзя.

— Значит, ревизия, — вздохнул, протирая очки, старый толстый Абазов. — И не откладывая, прямо сегодня...

...Янов видел, как стены куда-то поплыли; видел, как по потолку скользят лампы, а потом слышал гудение лифта. Но он не был уверен, что это совершается с ним не во сне, а в реальности. Гораздо реальнее, ощутимей и ярче были видения прошлого, которые не отпускали его. Главное, боль стала много слабее и уже позволяла свободно отдаться воспоминаниям. То, что было в реальности, — эта сиявшая многоглазая лампа, этот стол, неудобный и узкий, на который зачем-то его перетащили, эти ремни, которыми прихватили руки и ноги, — это всё происходило как будто не с ним, а с другим человеком. Само же его существо было вовсе не здесь, а в той давней ночи из прошлого, которая вытесняла реальность с уверенной силой. Янов видел, как вокруг ступают сумерки, как восходит над дальним лесом луна, слышал скрипучий, надрывистый крик коростеля в туманной низине и пытался схватить то податливо-мягкое женское тело, которое всё ускользало от торопливых рук Янова, но не исчезало, а продолжало наполнять собой сумерки.

— Дурак, платье порвёшь, — слышал он в темноте её шёпот и смех и продолжал жадно мять то живое и тёплое, что окружало его так же зыбко и неуловимо, как лунный свет.

Волны хмеля качали его, молодого студента; к нему приближались то мелко-колочие звёзды, то колеи мягкой дороги, все в рубцах от колёс, то рядки ячменя на сухом, пыльном поле, краем которого он, спотыкаясь, куда-то брёл со случайной и тоже хмельною подружкой. Как её звали? Но это всё было неважно: ночь не имеет ни имени, ни границ — в ней есть только тайна, которая так же неуловима, как мягкое женское тело, как глупый и радостный смех, как призрачный свет дынно-жёлтой луны...

В этом свете всё было видно, как днём: их общая длинная тень, которая словно боролась сама же с собой на траве, седой от росы, и дорога в рубцах от колёс и от тракторных траков, и тени раки, серебрищихся в свете луны. Но чем отчётливей Янов видел всё это, тем менее он понимал: кто он таков, что он делает здесь и что с ним происходит? Зачем так смеётся и дышит горячая мягкая тьма, почему она льнёт к нему — и ускользает, то борется с ним, то поддаётся ему?

— Нет, я на землю не лягу, там твёрдо, — шелестел её голос и смех. — Ложись лучше ты...

И вот он лежал, опрокинутый навзничь, на жёсткой земле, и несколько лун расплывались, качались над ним. Он не понимал, какая из лун настоящая, а какая — лицо или полная женская грудь? Эти луны то плыли по кругу — точь-в-точь, огни лампы, что ярко сияла над ним, — то сливались в одну. Луна приближалась и отдалялась, то становилась огромной и вытесняющей всё остальное, то маленькое и едва различимой. Янов знал, что приблизиться к ней — для него вопрос жизни и смерти; и он изо всех своих сил, задыхаясь от спешки, старался настичь, наконец, свою цель. Руки и ноги его были чем-то прихвачены, сверху давила огромная тяжесть, и даже дышать

было трудно. Напрягаясь всем телом, он рвался, хрипел, выгибался дугой, но луны, что плыли над ним, были недостижимы. Волна за волной поднимала его обречённое тело — он бился о стол и о жёсткую землю, — пока темнота не взорвалась над ним, и луна не погасла...

Инна шла на дежурство с волнением, для себя непривычным, сама не понимая источника этой странной тревоги. Дома всё шло, как обычно: дочь росла, мать шила да ругалась, денег до зарплаты как будто хватало — Михаил, бывший муж, алименты выплачивал, — так что бытовых, очевидных причин для тревоги как будто и не было.

Разве что вот закат был сегодня особый. Багряное пламя его охватило треть неба, и стаи галок носились над крышами города, так тревожно мелькая на фоне заката, словно это были не птицы, а сажа пылавшего где-то за горизонтом пожара. Отчего-то вот именно нынешний день не хотел угасать так смиренно и тихо, как это было обычно, но боролся с густеющей тьмой, хоть и ему самому уже было ясно, что он обречён.

Инну не оставляло странное чувство, что она тоже участвует в этом сражении между ночью и днём, что сейчас развернулось на небе и чьи багровые отсветы отражаются в скатах крыш и витринах, в пылающих окнах и даже на лицах людей, что шагали навстречу. За те полчаса, что она шла до больницы, в небесном сражении наступил перелом: синева на востоке поблекла, как взгляд человека, который смертельно устал, и поэтому больше не может сражаться за жизнь. А закат из ярко-багряного стал венозным и тёмным, густым, оплывающим на землю, чтобы здесь, среди домов и теней, превратиться в тревожные сумерки.

Инна несла в себе часть этих сумерек, этой тревоги. Вообще всё последнее время с ней что-то происходило. Прежде спокойная и жизнерадостно-лёгкая, утешавшая всех окружающих ровным, отходчивым нравом, теперь Инна сама себя не узнавала. В ней появилось то чувство тревожного недовольства собой, что прежде ей было не свойственно. Можно было подумать, что в ней, в глубине её существа, поселился другой человек и что Инна теперь видит мир не своими, привычными, а совершенно иными глазами.

Вот и мысли, которые прежде её посещали нечасто, — не те бытовые и мелкие мысли, что пляшут в любой голове, а мысли глубокие, выразившие недоумение перед жизнью и перед самою собой, — эти мысли, словно незваные гости, являлись одна за другой, и Инна не знала, что с ними делать. Так, она думала: “А зачем я живу? И зачем живут все остальные?” — и никак не могла отвязаться от этих назойливых и безответных вопросов. Раньше, спроси её кто-то о чём-либо подобном, она лишь отмахнулась бы, как от досадливых мух, от таких глупостей, и жила бы такою же самодостаточной жизнью, как прежде, — жила тем полнее, уверенней и самозабвенней, чем меньше её занимали вопросы о смысле и цели собственной жизни.

Можно было подумать, что прежде она не жила, а дремала, была погружённой в глубокий и сонный покой непосредственной жизни — жизни самой по себе и самой для себя, — но вдруг неожиданный внешний толчок её разбудил. Она сама толком не помнила и не понимала, что именно это был за толчок, но с изумлением и почти что со страхом ощущала в своей душе как бы и новую, беспокойно-тревожную душу.

Даже пьяница-мать, уж на что была невнимательна — и то как-то заметила:

— Ты какая-то, Инка, другая. То ходила, как сонная клуша, а теперь, ишь, как глазки блестят! Мужика себе нового, что ли, нашла? Насквозь тебя вижу!

Инна ничего ей на это не отвечала — не ругаться же с пьяной старухой? — но щёки её покраснели, и сердце забилося сильнее. “Да что со мной, Господи? — недоумевала она. — Никакого нового мужика у меня не появилось — Муров не в счёт! Не влюбилась же я, в самом деле, в этого доктора, что лежит у нас в реанимации?” Но сердце, которое билось всё чаще, само подсказало ей: да, дело в докторе Янове. Именно он её разбудил, передал ей то чувство тоски и тревоги, и те новые, ей непривычные, мысли, от которых Инна уже не могла освободиться. Ей даже казалось: всё это было в

ней изначально, но только в каком-то дремотном, ещё не проявленном виде, и только тревожный, страдающий, умный взгляд доктора Янова смог пробудить в Инне её собственную душу.

Она теперь видела всю свою прежнюю жизнь как какую-то полу-жизнь, как глубокую дрему. Её иногда пробуждало от этого сна — и то ненадолго! — лишь появление очередного мужчины, которого Инна сторяча принимала за настоящего, но который оказывался, как и все остальные, подделкой.

— Потаскуха! — кричала ей пьяная мать. — Что ты их перебираешь, как тухлые помидоры на рынке? Мужик — он стодитя любой, лишь бы нёс в дом, а не из дома...

Но она не могла жить с любимым, хоть и слыла среди сплетниц-подруг податливой и безотказною бабой. Ей был нужен один — настоящий! — которого Инна ждала и искала всю жизнь. Поэтому, в глубине своего существа, она ощущала себя почти целомудренной, как бы ни хохотали подруги, если бы Инна призналась им в этом.

Вот и сейчас, пока шла на работу, она даже не могла ясно вспомнить никого из тех многих мужчин, кому ей случалось отдаться. Все они как-то сливались в памяти во что-то вялое, вечно похмельное или хмельное, то озлобленно-мелкое, то ревнивое или скупое — в нечто, словом, такое, о чём не хотелось и вспоминать. Отчётливо, ясно ей виделось только одно: лицо доктора Янова, то, как он смотрел на неё восхищённым, страдающим взглядом, под которым Инна казалась себе совсем маленькой девочкой, только ещё начинающей жить и уверенной в том, что всё в жизни будет прекрасно...

Первое, что ей сказали, когда она передевалась в сестринской комнате, было:

— А твой-то, Инусь, совсем стал плохой.

— Что так? — спросила она, чувствуя, как похолодели её кисти рук.

— Его же ещё раз брали на операцию, знаешь? Ну, вот, — рыжая Ольга, сдававшая смену, была возбуждённой от усталости и недосыпа. — А теперь он никого не узнаёт и плохо держит давление.

— Дышит хоть сам?

— Пока сам...

Инна вдруг ощутила странное чувство вины, прежде ей незнакомое, — вины не за какой-либо конкретный проступок или ошибку, а той изначально, глубинной вины, в которой лично она была вроде бы и не виновата, но всё равно ощущала её беспокойным, томящимся сердцем. И опять ей казалось, что это уже не её, а чужая душа оживает, волнуется в ней.

Стараясь не выдать волнения, она подошла к койке Янова, но посмотрела сначала не на него, а на дренажи, что свисали с кровати, на стойку капельницы и на манжету тонометра, что чернела поверх одеяла. Ей пришлось сделать усилие, чтоб посмотреть на изжелта-бледное, в серой щетине, лицо. Действительно, он стал значительно хуже. За те двое суток, что Инны здесь не было, Янов словно потух. И хотя сознание и возвращалось к нему время от времени, но в глазах уже не было жизни. Взгляд Янова так равномерно плавал по стенам, по потолку, по оконному переплёту и стойкам капельниц, словно его ничего уже не интересовало, и он ни на чём не хотел задержаться подольше. Инна, почти десять лет проработавшая в реанимации, хорошо знала, что означает такой безучастный, всегда уплывающий в сторону, взгляд: он означал, что больной уж отчалил от берега жизни и плыл теперь в том зоре меж смертью и жизнью, для которого пока не придумано даже названия. Она подошла к нему, положила ладонь на сухую, горячую руку больного и хотела сказать что-нибудь, но передумала. “Что говорить — всё и так ясно”, — вздохнула она, ощутив комок в горле, который никак не удавалось сглотнуть.

Янов, как это ни странно, почувствовал, что она рядом. Его веки дрогнули, зрачки стали уже, и взгляд поплыл чуть быстрее, как будто кого-то искал. Вот он проплыл по груди, шее Инны, вот пересёк её влажный сочувственный взгляд — и Инна, усилием собственной воли, остановила плывущий взгляд Янова на своих, напряжённо глядящих, глазах. Он сейчас словно всплывал к ней из глубины — зовущий и пристальный взгляд медсестры вы-

тягивал Янова из забвения, — и в глазах его, только что безучастно-пустых, проступало всё больше тоски и тревоги.

Он плыл между жизнью и смертью — как в реке между двух берегов. Сознание то совсем оставляло его — и тогда он сливался с густой, вязкой тьмой, — то к нему возвращалась способность что-либо видеть и слышать, как будто он всплывал из глубины, приближаясь к поверхности, но ещё не выныривал полностью, а различал все предметы и звуки рассеянно и приглушённо, словно сквозь зыбкую толщу воды. Так, он видел свет ламп, что горели над ним, видел их маслянистые пятна, но не мог отличить этот свет от такого же, масляно-жёлтого, света луны, что висела в проёме окна.

Удивительно: Янову было сейчас так хорошо, как не было никогда в жизни. Боль и тоска — неизбежные спутники прежнего существования, — наконец отпустили его, и его жизнь, приближаясь к границе, перестала стыдиться себя и стараться себя оправдать. Прежде меж Яновым, как он себя сознавал, и тем, что он называл словом “жизнь”, — словом, которое обозначало так много и одновременно так мало, — всегда находилась какая-то словно преграда, мешавшая Янову жить напрямую, без чувства тревоги, тоски и неясной вины перед этой самой “жизнью”. Но он, вместе с тем, ощущал: как ни тягостна эта преграда, как она ни мешает ему, но нести её бремя, сознавая всю её неодолимость, является, может быть его главной задачей. До тех пор, пока между жизнью и Яновым сохранялся вот этот трагический, тягостный, но совершенно необходимый зазор, он оставался не просто живым человеком, но он был мужчиной. Да, он желал бы приблизиться к жизни и даже с ней слиться, как он всегда желал слиться с женщиной или хотя бы приблизиться к ней, но он вместе с тем понимал, что такое слияние, в самой последней своей глубине, невозможно и даже преступно. И пусть, ощущая зазор меж собою и жизнью, он испытывал тягостно-смутное чувство вины, но даже и в этом несении груза вины, в этом бремени, что изначально лежало на нём, Янов слышал как будто веление высшего долга, приказ тех неведомых сил, что зачем-то послали его в эту жизнь и велели ему тосковать и страдать. Пока он был жизни чужим, пока был от неё отодвинут, он был нужен и ей, и себе самому; его роль и задача мужчины и заключалась-то, может быть, в том, чтоб стремиться к жизни, как к женщине, чтоб желать её всею силой души, но всегда оставаться собою самим, одиноким и очень несчастным.

Вот за то, что он был одинок и несчастен, его и любили. Ведь Янов, пока он был жив и здоров, не только сам постоянно испытывал тягу к женщинам, но и женщины всегда относились к нему с интересом, переходившим в сочувствие, а потом и в любовь. Янов нравился всем: медсёстрам и пациенткам — те его просто боготворили! — лаборанткам и женщинам-докторам или просто случайным знакомым, с которыми пересекались пути его жизни. Конечно, не все становились его любовницами, но Янов чувствовал, что мужского начала — этой вот самой, томящей его, беспричинной тоски и тревоги — в нём столько, что он мог бы, в принципе, сделать любовницей всякую женщину, и всякая, как он убеждался с годами, в таинственной глубине отношений меж ними уже как бы принадлежала ему.

Что в нём было такого, чем их так покорял этот нервный и измождённый, почти всегда утомлённо-печальный хирург? Разве что этой самой печалью, тоской одиночества, что неотступно горела в его очень добрых и умных глазах? Всем хотелось его пожалеть и утешить, как мать утешает ребёнка, и всем, в то же самое время, хотелось приникнуть к источнику внутренней силы, которая позволяет доктору Янову, несмотря на все их усилия, ласку, любовь, оставаться несчастным и одиноким.

Но так было раньше, когда он был жив и здоров. Теперь же, впервые за всю свою жизнь — кроме, может быть, раннего детства, которое Янов уже и не помнил, — он жил напрямую, приблизившись к жизни настолько, что уже и не мог отделить себя самого от предметов и звуков, его окружавших. Вдруг исчезла дистанция между ним и пространством, что смутно клубилось вокруг, образуя густевшие зыбкие формы, которые то обступали его, то опять растворялись, исчез тот зазор, напряженье которого прежде и со-

здавало в нём, Янове, болезненно-острое ощущение жизни. Теперь он видел все вещи простыми, бессмысленно-новыми и незнакомыми. Словно весь мир сотворён был вот только сейчас, в ту секунду, как Янов взглянул на него, и этого мира ещё не коснулось то искажение, тот перекокс, какие привносит осмысленный взгляд человека.

Переполненный счастьем простого, бездумного существования, Янов переводил взгляд со стены на окно, потом на потолок, на стеклянный мерцающий шкаф — и всё, что он видел, его оставляло совсем равнодушным. Названия предметов и их назначение, и запутанно-сложные связи меж ними — всё это осталось в другой, прошлой жизни, о которой он помнил и знал сейчас так же мало, как и о времени внутриутробного существования. Он видел и ощущал только тёмное, светлое, гладкое либо шероховатое, тёплое или прохладное: его безмятежно-счастливый, бессмысленный взгляд был таким, каким может быть только взгляд идиота. В сущности, это была совершенная жизнь — жизнь, обращённая лишь на саму же себя, — и она длилась для Янова вечно, ибо понятие и ощущение времени для него вдруг исчезло. Он находился вне времени, вне суеты и тоски, порождённой его лихорадочным бегом, и сам, изнутри себя самого совершенно не чувствовал бремени жизни. Он просто был, просто жил и дышал — наслаждаясь бездумным, таинственным благом самобытия. “Господи, как хорошо! — мог бы Янов подумать, если бы мысли могли зарождаться в его совершенно пустой голове. — Как хороша жизнь сама по себе, просто жизнь — без желаний, без мыслей, без чувств, — как хорошо просто плыть в её слитном потоке! Как хорош этот мир без меня, как он ясен и прост, как он счастлив и как безмятежен...” Он теперь был и сам частью этого мира, он сам растворился, растёкся среди его зыбких форм, наслаждаясь простым и бессмысленным счастьем существования. Он обрёл, наконец, тот покой, к которому так стремился всю жизнь и который пришёл к нему перед самою смертью. Янов чувствовал: этот покой ему кем-то подарен, и он был благодарен тому, кто его подарил. И эта его благодарность была сердцевиной того ощущения счастья, что совершенно размыло границы его существа, сделав Янова равным всему окружавшему миру. Между миром и ним больше не было противоречий и разницы, и теперь даже смерть вряд ли бы что изменила в этом всеобщем и благомном непротивлении сил...

Но внезапно словно волна прокатилась по водам, несущим его в своей ласковой тьме. Мир качнулся, напрягся — и Янов услышал, как туго стучит его сердце. Растерянным взглядом — уже не пустым и счастливым, а недоумённо-тревожным — он повёл вбок, потом вверх, как бы что-то ища над собой. Дышать становилось труднее, и сердце толкалось всё чаще: тугие, упорные эти удары выталкивали Янова из глубины, где ему было так хорошо, на поверхность, навстречу внимательным чьим-то глазам, что смотрели с тревогой и болью.

Он всё отчётливей видел лицо склонённой над ним медсестры. Янов не знал её имени, но всегда, сколько помнил себя, был с ней знаком. Он переводил вопрошающий взгляд то на мягкие губы, которые были подёрнуты плёнкой помады, то на один из двух тёмных зрачков, в которых — он чувствовал! — густо дрожала тревога. А в мерцании роговиц он узнавал отражение собственного лица и был рад, что ему, наконец, удалось погрузиться во взгляд этой женщины и запечатлеть себя в нём.

Чем ближе был миг узнавания взгляда, что так манил и тревожил его, тем Янов сильнее страдал. Его сердце с каждым ударом наполнялось знакомой и вместе с тем новой болью. Он не мог не стремиться к глазам, что тревожно светились над ним, он не мог не любить их всей силой любви, на какую был только способен, — и не мог, пока был живым, окончательно слиться с тем влажным светом, что лился из них. В этой паре сияющих глаз он угадывал всё, что ему было нужно, чтоб жить — или чтоб умереть; эти глаза были именно тем, что он так беспокойно и жадно искал всю свою жизнь, а нашёл только здесь и теперь, пред самою смертью.

Ему оставалось последнее: надо было войти в этот взгляд, в этот свет, что лучился над ним, и забыть навсегда о своей одинокой тревоге и боли. Он

входил в смерть, как в женщину: туго, напористо, мощно, с таким содроганием, с такой иступлённой силой, что под ним ходуном заходила кровать, зазвенели флаконы на стойке, и лопнул матерчатый жгут, что удерживал руку. Лицо женщины то приближалось к нему — её глаза были огромными, влажными, полными счастья и страха, — то отдалялось, и только луна колыхалась в сияющем, чёрном провале окна. Никогда ещё Янов не был настолько решителен, смел; никогда ещё сущность мужчины не проступала в нём с такой яростной силой. Перед этим напором ничто не могло устоять: ни луна, ни бездонная тьма за окном, ни ошеломлённая женщина, что уже упиралась руками в его обнажённую грудь и что-то кричала, и сама его жизнь отступала под натиском этой последней любви.

Янов видел себя и её уже как бы со стороны: видел, как она бьёт его по щекам и толкает в грудь, как что-то кричит — совсем как те женщины, которых он прежде умел доводить до последнего иступления страсти. Когда же она, наконец, наклонилась к нему и припала губами к его искажённому рту, чтоб вдохнуть в его грудь хоть немного своей, молодой и томящейся, жизни, то Янов, хоть был уже мёртв, но почувствовал этот её поцелуй. И ему стало жалко её, молодую, красивую, сильную, потому что она оставалась отныне одна, а мужчина, который был ей предназначен судьбой, навсегда ушёл в темноту...

Хоть голова его и моталась из стороны в сторону — Инна, вся покрасневшись, вспотев и уже задыхаясь, всё не хотела прекращать реанимацию, — но лицо Янова выражало покой, а тонкие серые губы слегка улыбались. Таким отрешённо-спокойным всегда напряжённое, нервное это лицо ещё никогда не бывало; оно было таким же спокойным, как и луна, чей неполный желтеющий диск расплывался в оконном стекле.

На крик Инны прибежали не сразу: в соседней палате как раз в это время интубировали молодую наркоманку, а второй из дежуривших нынешней ночью врачей — доктор Муров — давал наркоз в экстренной операционной. Когда же, минут через семь, у койки Янова уже суетились, и напарница Инны, бестолковая Зинка, неловко разматывала шнур дефибриллятора, то что-либо делать уже было поздно. Всем было ясно, что Янов покойник — таких безучастных и благодетных лиц у живых не бывает, — и все лишь удивлялись тому, что Инна, как заведённая, продолжает трудиться над ним.

— Да оставь ты его: видишь, он не жилец, — Зинка, наконец, разобралась с дефибриллятором. — Отойди, я шарахну разок, для порядка.

Электроразряд подбросил ещё тёплое тело, но экран кардиомонитора, тревожно пища, продолжал чертить ровную линию асистолии.

— Инка, да что с тобой? Ты рехнулась? Уймись, наконец, — с досадой воскликнула Зинка. — Подумаешь, экая невидаль: одним мёртвым больше, одним...

— Отвяжись! — грубо крикнула Инна, всё ещё трудно дыша и отирая лоб тылом дрожащей ладони.

Даже минут через двадцать, когда она чуть отдышалась, умылась, сменила промокший халат, ей всё-таки было нехорошо. Лицо продолжало гореть, вздохнуть полной грудью никак не удавалось, а низ живота наполняла тупая, тревожная боль. Редко кто из мужчин мог так измучить её, как это сделал тот, кто сейчас остывал у окна. Инна с жадностью выпила кружку воды, но губы её оставались сухими, и какая-то неутолимая жажда продолжала жечь её тело и душу.

Хорошо, что пришёл доктор Муров. Как всегда, он был весел и груб — даже ночная работа не могла его укатать! — и сразу, без слов, понял всё, что случилось.

— Отмучился, брат? — посмотрел он на Янова пристально и с уважением, как на человека, который справился, наконец, с самой трудной работой. — Ну, теперь отдыхай...

Муров испытывал в эту минуту ещё много всего: и сочувствие к Янову, и возбуждение после ночной операции, и чувство досады оттого, что дежурство ещё в самом начале, а у них уже двое покойников, и желание выпить, и голод, и сомнение, стоит ли продолжать отношения с Инной — к ним в

отделение поступила работать новая анестезистка, красотка с такими глазами и грудью, что все прочие женщины рядом с ней враз подурнели, — но, как человек редкой силы и цельности, он не стал погружаться в оттенки всех этих чувств. Вместо этого он приобнял Инну, отрешённо сидевшую с кружкой в руках у стола, и пророкотал ей на ухо:

— Как справишься — приходи в ординаторскую. Не пожалеешь...

Инна вздрогнула и посмотрела растерянным, словно не понимающим, взглядом. Муров не любил таких взглядов у женщин. Чтоб не тратить слов попусту, он лишь хлопнул своею громадной ладонью её по тутому бедру и вразвалку пошёл по коридору.

Ни обижаться, ни злиться на Мурова она не могла. “Живое — к живому!” — вспомнила она его же любимую поговорку, и подумала, что он, в сущности, прав. Больше того: она понимала, что даже и Янов её бы не осудил, потому что та жажда, что теперь так томила её, и была в ней разбужена доктором Яновым.

Возбуждение не оставляло её. Казалось, что если она пойдёт к Мурову, то этим исполнит не просто желание тела — оно изнывало в тоске по мужчине, и тяжесть внизу живота становилась уже нестерпима, — но этим исполнит и свой изначальный, глубиннейший долг, сохранит свою женскую суть, которую смог разбудить и понять лишь один человек, но которая принадлежала уже не ему.

И когда, спустя час, она быстро шла по ночному, залитому светом луны коридору, тот белый свёрток, что лежал на каталке у лифта, уже не вызывал в ней особенных чувств. Она была слишком живою, чтоб долго думать о мёртвом, а тот, кто лежал на каталке в рассеянном свете луны, уже слишком остыл, чтоб испытывать ревность.